

М. БОЧАЧЕР

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

Наравне с В. Маяковским А. Веселый имеет полное право заявить, что он «вылизывал чахоткины плевки шершавым языком пла-ката». Да, Веселый не писатель-созерцатель, который с олимпийским равнодушием «объективно» чертит свое художественное полотно. Веселый не из тех писателей, которые с надменностью известной лягушки пыжатся, стараясь стать выше своей эпохи. Веселый — сам участник всего того великого, грандиозного, кровавого и жестокого, которое называется революция. Прочитав «Россию, кровью умытую» («Федерация», 1932 г.), эту эпопею революции и гражданской войны, читатель верит, что автор все написанное сам пережил и перечувствовал, что он сам вшивел, мерз в теплушках, болел, голодал и проделывал все походы с Иваном Чернояровым, Васькой и другими главарями партизанщины, — такой искренностью и непосредственностью дышат все страницы романа.

Правдивость и искренность — важное качество советского писателя. Не даром об этом так много в последнее время толкуют в наших литературных кругах. Искренность, правдивость и непосредственность у Веселого налицо в полной мере. За это качество даже хочется простить ему многие идеолого-художественные ошибки романа, вытекающие из некоторой мировоззренческой ограниченности. Чувство правды не дает Веселому права на приукрашивание близких ему явлений даже тогда, когда первом его руководит желание романтизировать героические будни времени гражданской войны, когда он пытается того или иного партизанского атамана принарядить под Тараса Бульбу или другого лихого литературного сечевика.

Вот например такой эпизод. Февраль. Развал фронта. Солдаты бегут домой. По дороге срезывают нашивки. Писатель-приспособленец обезличил и приукрасил бы всю солдатскую массу. Подобный «аллилуйщик» писал бы, вероятно, о том, как все поголовно солдаты с радостью и ликованием, освобождаясь от тяжелой вековой ноши, срезали «с мясом» все царские знаки отличия, бросали их наземь, растаптывали. Признаемся, что где-то мы подобное даже читали... А Веселый по-иному передает эту сцену: «Фронтовики принялись срезать у себя погоны и нашивки, хотя многим и жалко было: тот младший унтер-офицер, тот фельдфебель, у кого кресты и медали — домой вся кому хотелось показаться в полной форме» (подчеркнуто мною М. Б.).

Сколько в этом мелком штрихе тонкого и глубокого понимания психологии народных толщин; сколько эта мелочь дает для понимания мелкобуржуазной, двойственной природы крестьянства; но главное — сколько искренности, не прикрашенной правдивости в этом небольшом психологическом отрывке.

— Как? У Веселого психологизм? — вопросят иные. Да, ответим мы. И вообще, полагаем, давно пора развенчать ходячую перевальскую легенду о мнимом психологизме Веселого¹. Разумеется, психологического размусоливания, поднятого на щит «перевальцами», вы у него не найдете. Но за панцирем жестокости, беспримерной отваги и героизма своих персонажей, Веселый умеет подметить и оттенить и человеческое, индивидуальное, психологически скрывающее внутренний интимный мир этих героев и превращающее их в настоящих живых и сочных людей. Его психологическое раскрытие как отдельных людей, так и массы, совсем иного рода.

Иван Чернояров, атаман партизанского отряда, боровшегося против белых, проходит со своим отрядом через родную станицу. «Потянуло Ваньку домой. Захотелось хоть одним глазком глянуть на свой двор, пробежать по саду, завернуть в конюшню, слазить на чердак к голубям... Чем ближе подходил к дому, тем больше волновался... постучался... сердце колотилось в ребра»... Бешеный атаман, немилосердно рубящий головы как врагов, так нередко и своих, гернически встречающий свою смерть в стане врагов и крадущийся в ночную темь к родному крову, к родным близким голубям взволнованный Ванька — сколько в этом эпизоде глубокого понимания извилин человеческой души, какой тонкий, психологический эскиз. Прочитав книгу, читатель убедится, что железные герои Веселого вроде командира сотни Воробьева или Максима Кужеля умеют в определенные моменты и жалеть, и слезу проливать. И читатель поверит этим слезам. Да, они плакали, они не могли не плакать.

Психологических штрихов, приходится признать, у Веселого не так уж много. В кровавом зареве гражданской войны, когда «дым, огонь — конца краю нет», когда с грохотом рушатся вековые устои, погребая под своими обломками и виноватых и невинных, Веселому как будто стыдно за подобные «человеческие» отступления, которые при этом задерживают бешеный темп революционного вихря. Он поэтому кладет эти психологические мазки вскользь, лаконично, не задерживаясь на них, спеша вперед, боясь застрять «в обозе» революции. Но эти незначительные и мелкие психологические наброски свидетельствуют об отшлифованности и остроте психологического резца Веселого и невольно сожалеешь, что эту часть своего писательского инструментария Веселый не так часто вводит в употребление.

Центральное место у Веселого занимают не отдельные герои, а масса. Но и те герои, которые проходят по страницам романа, герои особенные. Герои Веселого — не периферийные элементы класса,

¹ Для краткости приводим только следующую цитату: «Психологизм чужд Веселому», А. Лежнев, Б. С. Э., т. X.

а его сердцевина. Они — органические представители класса, массы, от которой они ничем особым не выделяются. Их вынесла на гребень волн революция, но завтра они могут вернуться и возвращаются обратно, в гущу этих масс.

Масса у Веселого не безмолвная, статичная глыба, а сила, приведенная в движение ураганом революции. Эта масса, как и вся страна, как и революция, проходит разные этапы. На наших глазах эта масса дробится, формируется, снова дробится и снова формируется. Эта масса пьянастует, буйствует, дерется, оголяет свои неизжитые звериные инстинкты и одновременно освобождается от своих мелкобуржуазных иллюзий, получает в жестоких схватках уроки политграмоты, но, главное, живет полной, безудержной жизнью.

Первый этап, через который проходит это взбаламученное революцией человеческое море — керенщина. Организационная, митинговая суета пробуждает массы к общественно-политической жизни: «Вся Россия — митинг», «комитеты кругом, комитеты...». В каждом полку комитет, в каждой роте комитет, в корпусе, будто комитет был, да что там — каждый нижний чин и тот сам себе комитет, только бы глотка гремела».

Второй этап — начало разоблачения мелкобуржуазных иллюзий. Рядовому солдату Максиму Кужелю, который с фронта везет урну с солдатскими голосами в учредилку, трудно сразу привыкнуть к мысли, что солдаты «зря голосовали».

— Как так? Не мог же целый полк маху дать?

— Вся Россия, брат, маху дала, — отвечает ему гармонист. — Давно бы нам с ними, с гадами, не языками, а штыками разговаривать начать, давно бы...». Но скоро «голодный и разбитый в мыслях Максим сорвал с урны сургучную печать и выменял у бабы на все солдатские голоса буханок ржаного хлеба».

Солдатская масса училась политграмоте не в школах. Идеи революции, интернационализма, международной классовой солидарности трудающихся воспринимались ею особыми путями, и Веселый умеет эти пути художественно показать. Речи и лозунги митинговых ораторов о братании солдаты восприняли правильно, но преломление этих идей у них получилось своеобразное и довольно «конкретное». Дело происходило на русско-турецком фронте: «Подманил лихой портняжка одного Османа, лапу ему в мотню запустил и за хвост на ощупь вытаскивает, действительно, вошь. Пустил ее в пару со своей в разгулку на ладонь и спрашивает Османа:

— Видишь?

— Вижу.

— Твоя насекомая и моя насекомая, моя крещеная, твоя басурманка... Угадай, какой они породы.

— Обе солдатской породы, — отвечает Осман на турецком языке.

— Верно! — кричит Макарка Сычев. — За что же нам друг на друга злобу калить и зачем неповинную кровь лить?.. Не одна ли нас вошь есть и не одну ли мы гложем корку хлеба?»

Мелкобуржуазные иллюзии, разумеется, окончательно еще не исчезли. Их продолжает добивать развернувшаяся гражданская война. Не всегда изживание этих иллюзий — победный марш вперед. На этом пути не мало движения вперед, но и не мало провалов и попытных ходов. Наряду с героизмом, отвагой, решительной бесстрашной борьбой за завоевания революции недисциплинированность, анархия, шкурничество, дикий пьяный разгул и ухарство, грабежи и жестокости, грязь, цинизм и махаевщина, а главное ограниченный локальный, деревенский подход к интересам и судьбам революции, объективно часто граничащий с изменой.

Вот, например, сцена «суда скорого» командира партизанской сотни Воробьева над начальником советского завода, бывшим полковником. Приехавшему на побывку домой Воробьеву дочь Наташа, работающая на заводе, рассказывает, что начальник завода насиличет над работницами; достаточно было Наташе добавить, что начальник и к ней пристает, чтобы Воробьевым и сыном был совершен «суд скорый».

И Иван Чернояров, порвавший с кулацкой семьей, геройски идущий на виселицу за то, что не хочет служить «за погоны», которые были ему предложены, в походе по степной дороге убивает уполномоченного Реввоенсовета Арсланова только за то, что тот вместо тачанки ездил на машине и носил золотые очки¹.

Или вот, например, картина взятия Армавира красными. Согнали буржуев на площадь, ожидали прибытия «большого начальника», который должен был распорядиться — «кого в тюрьму, кого к стенке, кого на работу по рытью могил и окопов». Но из проходившей по площади бригады «неожиданно из строя вылетел ингуш Хабча Чотчаев и, ворвавшись в гущу врагов, с визгом принял сечь их плетью по глазам: мстил за убитого на приступе друга Халу Уцаева». Таких эпизодов рассеяно по страницам книги много.

Веселый не скрывает, не смазывает теневых сторон партизанского движения. Он видит и прекрасно умеет показать отрицательные стороны поведения пробужденных от векового гнета масс. Часто во вред революции, стремясь утолить собственную жажду мщения, эти массы жестоко расправляются со своими былыми насильниками. Убийство и смерть входили в быт. «В вокзальном садике три кучки. В одной играли в орла, в другой — убивали начальника станции и в третьей — китайчик показывал фокусы... чернобородый большой солдат, разталкивая народ и на ходу обсасывая последнюю куриную ногу, орлом летел добивать начальника станции. Говорили: будто еще дышит».

Вот, например, картина убийства солдатами Половцева... «Не стерпя сердца, хлестнул я командира крестами по зубам. Половцев, падая, опрокинул повозку, но упасть в тесноте ему не дали, подняли на кулаки и понесли... наболело... накипело...

¹ Ненависть к очкам, как к символу чего-то барского, была весьма сильна у героев партизанщины. Это отмечено и Бабелем. Веселый на этом моменте часто акцентирует: «В судовых комитетах поголовно наша бражка, ни одного в очках нет».

— Дай хоть разок ударить! — всяк ревет. Раздергали мы ребра командира, растоптали его кишки, а зверство наше только еще силу набирает, сердце в каждом ходит волной и кулак просит удара»...

У Веселого люди не просто умирают. Обреченные «отдают якорь», отдают не только жизнь, их до смерти калечат, терзают. Над пойманным председателем марьяновского совета изменником Ежовым — Егор Ковалев совершают такую «процедуру»: «он оттяпал изменнику сперва руки, потом ноги, потом голову».

Смерть, смерть, смерть кругом. Смерть на каждом шагу, перекрестке. Смерть случайная и бессмысленная. Человеческие головы стали исчисляться по шапкам («лед надломился и осел. Все, сколько там ни было, с обозами, с пушками, потопли. Я шапок наловил полную лодку...»). Нравы стали естественными и непосредственными, снизившись до звериного и животного уровня («тут же, во дворе, разрушенного дома за каменной оградой, на камышевом снопе, толстая армянка отпускала и пешему и конному»). Грандиозная война — не абстракция, не социально-политический термин, а быт. Она происходит в каждой станице, деревне, хуторе («вся Россия на ножах»). Она на-двоем разорвала почти каждую семью (Иван Чернояров и его семья).

Разделенные на два враждующие между собой лагеря — белые и красные — жители одной станицы — случайно ночью во время разведки сталкиваются. С карабинами на изготовку, стоят друг против друга воспитывавшиеся раньше в одной среде станичники, ныне разделенные классовой пропастью враги, здороваются, перекидываются вестями о домашних делах, уговаривают друг друга сдаваться, угощают папирасами и разъезжаются в разные стороны, как раньше бывало на ночном.

Читая Веселого, невольно вспоминается Бабель с его «Конармиеей», но больше всего Пильняк с его «Голым годом», с его пониманием революции, как вихря, мятели. Веселый, разумеется, не Пильняк и даже не Бабель. Он лучше и глубже последних осмысливает революционные события. Революция ему органичнее, ближе: он ее участник, он «изнутри» фиксирует явления. Но пильняковское стихийничество, скифство довлеет, к сожалению, и над Веселым.

Веселый прекрасно видит и чувствует разрушительные начала революции, когда пыль летит столбом, когда все с места сдвинулось, завертелось в чертовском круговороте, но он не понимает творящей конструктивной стороны революции.

— Но ведь Веселый пишет о «России, кровью умытой», о днях гражданской войны, — возразят нам, — откуда же было Веселому воспринять конструктивное, созидающее?

— Да, — к сведению ожидаемых оппонентов, — созидательные моменты революции не датируются 1921 годом. В период нэпа они выдвинулись лишь на авансцену, но они были — и они не могли не быть — в первые дни Октября. Революция была не только разрушительным вихрем, но и организацией людских масс, созданием новых

форм государственной власти и человеческого общежития, о бразованием нового морального кодекса. Если конструктивисты в свое время выбрасывали из революции ее разрушительные тенденции, классовую борьбу и потому скатились к деляческому «бизнесу», то Веселый, отмечая разрушительное, не вполне умеет видеть и показать новое созидающее начало революции.

Это художественно-политическая слепота на один глаз... Мы уже не говорим о пролетариате — гегемоне революции, сознательно проводившем свою историческую миссию, но и революционная деревня, партизанщина, искала и находила в революции свой классовый смысл. И колебания последней не случайны и бессмысленны, они были обусловлены двойственной природой крестьянства и конкретно историческими обстоятельствами. Этот классовый смысл партизанщины не то что совершенно непонятен Веселому — этого мы не говорим,— но частенько он застилается картинами общего разгула, в которых классово-психологические истоки событий не всегда четко прощупываются.

Понимание революции как вихря нашло свое отражение и в формальных сторонах творчества нашего автора. У Веселого отсутствие цельного, органичного сюжета, если не совершенная бессюжетность, композиционная разорванность и рыхлость (отдельные части связаны между собою весьма слабо и легко произвести перестановку или исключение отдельных очерков), незаконченность индивидуальных образов. Художественная бессистемность — вот краткая характеристика формальных сторон творчества Веселого. Создается впечатление, что Веселый с отрядом партизан по долам и горам несется вихрем, без остановки и оглядки назад. Эмоции, мысли, впечатления калейдоскопически несутся вперед, как телеграфные столбы из окна вагона, наскакивают одна на другую, и нет времени отдохнуть и сосредоточиться, отобразить, отшлифовать и организовать их в определенную стройную систему. Но, конечно, эта кажущаяся «неслаженность» есть особая специфичность художественного метода, порожденного во многом неустоявшимся «рыхлым» мировоззрением.

В этом писательском «галопе» есть и свое достоинство. Отсутствие литературной «штукатурки», «привинченности» сохранило почти в целости запах памятных, великих, героических дней. «Россия, кровью умытая» не воспринимается поэтому как история прошлого. Это полновесное яркое и сочное сегодня, без единой архивной пылинки. Мы с удовольствием отмечаем эту острую свежесть художественного показа Веселого. Но ведь одним запахом эпопея не создается, а у Веселого были и есть литературные данные для создания эпопеи гражданской войны. Чего стоят, например, одни его меткие диалоги, колоритный язык повествования и героев, пересыпанный матросским жаргоном и революционными словообращениями. Достаточно услышать одно слово «братаны», чтобы вы сразу представили себе оратора, в его внешнем обличии («распахнулась натянутая на голое тело шинель — на расчесанной груди чернел медный крест»), и чтобы вы заранее догадались, в какую сторону будет он гнуть свою линию. Чего стоят его

брожкие щтрихи, картинки природы, быта, показывающие силу большого, крепкого мастера. И жаль, очень жаль, что мастерство Веселого снижается именно благодаря его художественной анархичности, как основы метода.

Художественно-непосредственный Веселый нередко сбивается на манерность. Раздражает, когда после меткого диалога, прекрасно смонтированной сцены, вы вдруг натыкаетесь на романтическую напыщенность, ложный пафос, неорганичный для нашего автора.

Веселый нередко падок на типографские ухищрения. Он любит расставлять слова а ля футуристы:

«Пыль
Дым
Гром...»

Он немилосердно расправляет и с правилами знаков препинания, расставляя их по-своему. Как новаторство это все отнюдь не плохо. Но это желание воздействовать и на зреение читателя, заставляет задумываться: не кроется ли в этой затее писателя желание застраховать себя добавочным графическим воздействием, очевидно проистекающим из осознания недостаточности воздействия на читателя разорванным и сумбурным содержанием.

Веселый, как мы выше писали, не прикрашивает действительности партизанского движения. Он умеет видеть и показывать читателю и теневые стороны последнего, враждебные пролетарской революции и ее организующей силе. Сцена разгрома винных складов и последовавшего вслед за этим дикого пьяного разгула прямо просится в хрестоматию, настолько она ярка и художественно правдива: «Черпали котелками, пригоршнями, картузами, сапогами, а ловкачи, припав, пили прямо, как лошади на водопое. В спирту плавали упущенные шапки, варежки. На дне самого большого чана был отчетливо виден затонувший драгун лейб-гвардии Преображенского полка в шинели, в сапогах со шпорами и с вещевым мешком, перекинутым через голову... старик упал на головы стоящих во дворе, сломал спинной хребет, но бутылок из рук не выпустил до последнего издохания...»

Хотя Веселый не морализует — в этом его достоинство, но все же видно, что он не оправдывает эту «заднюю» партизанщины и гражданской войны. Но можно ли отсюда сделать заключение, что Веселый последовательный борец против стихийничества и деревенского анархизма, что в дуэли между созидаельным началом города и бунтарской разрушительной стороной деревни он творчески всецело на стороне первого? Ничуть.

Веселый не чувствует, как он себе противоречит романтическим идеализированным воспеванием старого житья-бытья кубанской станицы (стр. 94—96), биологизмом, доведенным до апофеоза. Читатель вправе спросить: стоило ли такую станицу разрушить? Идили-

стическая картина «привольной сторонушки» не только не в состоянии объяснить, на какой почве выросли семена классовой ненависти, раздирающей станицу на-двоем, но, что особенно важно, выносит обвинительный приговор революции за «Россию, кровью умытую». Такую привольную Россию преступно было разрушить. И «братишка» Веселого вправе поставить стереотипный вопрос: «за что же кровь проливали?»

Правда, Веселый в воспевании «богатого края» выделяет две стороны: казачье и мужичье. Идиллия — только на казачьей стороне. Мужики же — повествует Веселый — жили хуже. Их дома всегда водой заливались: «Летом пылища, осенью грязь коням по брюхо. Кое-где торчали чахлые деревца с оборванными на веники ветвями. И скотина мужичья была мельче, и сало на кабанах постнее, и щерсть на овцах грубее. Хлеб мужички ели простого размола, да и то многие не досыта».

Но разве среди казачества все жили припевающи, разве классовая дифференциация не коснулась казацкой станицы? Разве классовая борьба на Кубани ограничилась борьбой между казачеством и «городовиками», а внутри первого совершенно отсутствовала или была наносным явлением? Но это ведь неправда, так ведь комментируют события не наши историки. И сам же Веселый впоследствии показывает классовую расщепленность казацкой станицы.

Где и в чем генезис этой ошибки Веселого — трудно сказать: то ли стремление к романтизации исказило перед Веселым историю старой дореволюционной Кубани, то ли, наоборот, непонимание этой истории привело Веселого к романтизму. Но как бы то ни было — факт налицо. Романтизирован не только старый быт, но и некоторые отрицательные моменты партизанщины. И враги нередко вышли обеленными (стр. 165, 175). Это обстоятельство снижает идеиную ценность вещи Веселого. Несмотря на ее высокие достоинства, отмеченные выше, она поэтому навряд ли сможет стать «историей гражданской войны» хотя бы на Кубани.

Веселый, необходимо отметить, чувствует необходимость побороть стихийничество деревни и развенчать его. Второе «крыло» романа посвящено этой художественной задаче. Клюквин-городок, которым заправляет горстка большевиков, должен победить село Хомутово, олицетворяющее собою деревенскую Русь — Клюквин-городок действительно побеждает. Последняя глава романа так и называется: «Сила солому ломит». «Город подмял кулацкую деревню, соломенная сила рухнула». Но эта задача не только художественно не выполнена (второе «крыло» слабее первого; и Капустин, и Павел Гребенщиков, и бешеный комиссар Ванякин, и другие большевики бледнее образов Черноярова и других главарей партизанщины), но — что важнее — политически неправильно разрешена. Если Веселый видит противоречия между пролетариатом и крестьянством, то зато он не знает, где и в чем основа устранения этих противоречий. Корни наличных противоречий — мелкособственническая двойственная природа крестьянства. Но в этой двойственности, в условиях пролетарской диктатуры, заложена возможность изживания этих противоречий, которые не неиз-

бенно должны привести к разрыву. Наоборот, единство интересов рабочего класса и крестьянства в действительности и исторической перспективе берет верх над их противоречиями, которые являются временными и проходящими. Эпопея коллективизации СССР, начиная с «года великого перелома» — тому блестящее историческое доказательство.

Если от писателя мы имеем право требовать художественное предвосхищение, умение заглядывать в великую книгу жизни на несколько лет вперед, умение в эмбрионе раскрыть ведущую тенденцию предстоящего хода развития — ибо в этом познавательная ценность литературы — то тем более мы имеем право требовать от книги, выпущенной в 1932 году. Проблемы, получившие свою проверку в ходе истории, должны быть разрешены с учетом всего накопленного исторического опыта союза рабочего класса и крестьянства, совместно строящих социализм. У Веселого этого учета нет. «Город подмял кулацкую деревню» — говорит Веселый. Но, во-первых, деревня — не «сплошное плато», не вся деревня кулацкая, как не вся деревня раньше жила «привольно». Во-вторых, кулачество подмято и ликвидировано не только силами города, а союзом города и деревни под руководством партии, новыми силами из бедноты и середнячества, получивших свою революционную закалку в огне гражданской войны. И, в-третьих, линия пролетарского города по отношению к деревне — не «подмять» — это не наш тезис — а перевоспитать, переделать и перевести на социалистические рельсы.

На вопрос: кто побеждает? Веселый правильно отвечает: Клюквин-городок. Но неправильно решает вопрос о методах, обеспечивающих эту победу. «Село Хомутово» заканчивается следующим любопытным эпизодом: «Анархист» — деревенский бык, прозванный так деревенскими ребятишками за свою дикость и лютость, вырвался из «хлева», в котором его держали взаперти. Он выбежал за окопицу деревни и столкнулся с идущим по железнодорожной насыпи поездом. «Анархист» хлестал себя по бокам тяжелым, как канат, хвостом с пушистой мацлышкой на конце, метал копытами песок и, пригнув до земли голову, со смертельным ревом стремительно бросался встречь паровозу и всаживал могучие рога в грудь паровозу... Два рева старались перебороть друг друга... Анархист с разбегу ударялся снова и снова... Рога его уже были сломаны, дрожали точеные ноги, ходили взмыленные бока, и морда его была залита кровью, измазана нефтью... Разбежался в последний раз, стукнулся, передние ноги подкосились... Испуская последнюю силу страшным ревом, он упал перед врагом на колени, потом медленно рухнул на бок и устало закрыл слипшиеся от крови глаза...» Этот эпизод дается после доклада Ванякина в городе о ликвидации восстания в Хомутове. Ясно, что перед нами символическое изображение того, как город подмял под себя деревню. Этот эпизод подтверждает, что Веселый политически неверно трактует взаимоотношения города и деревни. Деревенский бык не обязательно должен погибнуть.

Веселый крупный писатель, мало оцененный писатель, которого из групповых соображений замолчали. Веселый оригинальный художник, у него своя тематика, свои образы, свой язык, меткий и лаконичный, поражающий своим богатством. Веселый умеет мелким штрихом обобщить крупные явления, сделать их выпуклыми — в три измерения—осозаемыми, конкретными. Но Веселый, усевшись в кругу своих партизан, часто не видит дальше рядового Максима Кужеля. Когда он пытается разорвать локальную узость кубанских степей, он попадает в другую крайность: от идеализации «родной сторонушки» — к мыслям о неизбежной смерти деревни. Эти мировоззренческие недостатки, повлиявшие и на художественную сторону вещи Веселого, должны быть изжиты, ибо они мешают Веселому стать настоящим певцом «России, кровью умытой».